

Александр Амфитеатров

Враг



Александр Валентинович Амфитеатров

Враг

«Вот я и на родине! Хороша моя дорогая Волынь! Тишь, гладь и Божья благодать. Сейчас бродил по парку... Темь, глушь... дорожки густо заросли травой... Скитался, как в лесу: напролом, целиной, сквозь непроглядную заросль сирени, жимолости, розовых кустов, одичавших в шиповнике, барбариса, молодого орешника. Еле продираешься между ними, унося царапины на лице и прорехи на платье. Из-под ног скачут зайцы, над головою звенит тысячеголосый птичий хор. Войдешь в это певучее зеленое царство, и — точно отнят у остального мира. Ступил два шага от нашего ветхого палаца, и его уже закрыл зеленый лиственный полог...»

**Александр Валентинович
Амфитеатров
Враг**

Сказка Иванова дня

1 мая 1893 года

Вот я и на родине! Хороша моя дорогая Волянь! Тишь, гладь и Божья благодать. Сейчас бродил по парку... Темь, глушь... дорожки густо заросли травой... Скитался, как в лесу: напролом, целиной, сквозь непроглядную заросль сирени, жимолости, розовых кустов, одичавших в шиповнике, барбариса, молодого орешника. Еле продираешься между ними, унося царапины на лице и прорехи на платье. Из-под ног скачут зайцы, над головою звенит тысячеголосый птичий хор. Войдешь в это певучее зеленое царство, и – точно отнят у остального мира. Ступил два шага от нашего ветхого палаца, и его уже закрыл зеленый лиственный полог. Кое-где в кустах попадаются обломки статуй – безносые головы, безрукие и безногие торсы. Гипс размок и почернел, мрамор оброс мхами; на плечах обезглавленной Цереры, из перегноя прелых листьев, поднялся бодрый малютка – дубок. Наш предок-магнат, вельможный пан грабя Петш Вавжинец Ботва Гичовский, полтора ста лет тому назад превративший здановские роци в парк, победил было лесную глушь. Но потом-

ки зазевались – и глушь вырвалась из оков. Сперва она возвратила себе все, что люди у нее отняли, исправила по-своему все, чем мы ее – по-нашему – украсили, а по ее рассуждению, вероятно, обезобразили, – и теперь идет войною уже на самый палац. Ступени террасы, подоконники, карнизы, балконы, черепичная крыша зелены, как и самый сад; на них растут мхи, травы, молодые древесные побеги. В моем кабинете отворить окна мешают ветви старой сирени. От нее темно в комнате. Надо будет ее срубить, но – прежде пусть отцветет: а теперь она вся, как невеста под венцом, в кистях белых благоуханных звездочек... вчера вечером на ней пел соловей...

3 мая

Дышу... молчу... слушаю деревенскую тишь и сам себе не верю: неужели я, всесветный бродяга и авантюрист, – наконец у пристани? В приюте тихом, прочном и долгом, откуда уже трудно убежать вдаль, опять на поиски нового, необыкновенного... Измаяли меня эти долгие поиски. Я начал их молодым,

богатым, здоровым, а кончаю больным, полунищим, – хоть лет мне не так уж много – кто же назовет меня «еще молодым человеком»?

Прежде жажда новых ощущений увлекала меня в Южную Америку, в Среднюю Азию. Я видел пир людоедов в Африке и пускал бумеранг в казуара вместе с австралийскими дикарями. Теперь, если новому и необыкновенному угодно свести со мною знакомства, пусть оно само сюда пожалует: я не сделаю ни шага ему навстречу, – мне и здесь хорошо. Спасибо дяде, счастливому владельцу этих мест, что ему пришла в голову идея доверить мне управление Здановым, – идея довольно неосторожная, надо сознаться: в ней больше любви ко мне, чем практического благоразумия. Я ведь никогда ничем не управлял, – ничем, не исключая самого себя... Между тем я прослыл за человека с сильным характером.

Почему? Вероятно, потому, что я – изволите ли видеть – стрелял львов в Африке и ходил один на один, с ножом и рогатиною, на медведя в Олонецкой губернии. Великие заслуги! – нечего сказать! Как часто принимают люди за характер отсутствие в натуре челове-

ка способности к физическому страху... Еще в детстве, читая у Гримма сказку об удальце, который бродил по свету, напрасно стараясь узнать, что такое страх, – я думал: «Вот я тоже такой!» Всякая борьба дарила меня минутами высокого наслаждения; я не трусил никогда ни человека, ни зверя, ни черта. Я всегда делал только то, чего мне хотелось, и чего мне хотелось, непременно достигал. Но я никогда не мог заставить себя сделать то, что было надо сделать, никогда не насилывал себя к отказу от того, чего не следовало делать. Разве это характер? Нет, упрямое прихотничество, не больше. Характер – в повиновении долгу. Сам хвастаюсь храбростью, да и никто не скажет, что я трус... а между тем семнадцать лет тому назад я заставил дядю купить себе рекрутскую квитанцию, чтобы избавиться от воинской повинности. Мне приятно драться с медведем, мне приятно стоять на дуэли, под пулю бреттера, вот почему я без страха шел на медведя, принимал и сам делал вызовы на поединки. «Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслаждения, блаженства, может быть, залог!» Я за-

мешался волонтером в чилийскую революцию – и показал себя храбрым солдатом. А от воинской повинности все-таки сбежал – затем, что тут я должен был стать солдатом не по своей воле, но по приказанию закона. А хоть я и не дурак, закон для меня, всю жизнь, был не писан. Удрал от солдатчины, чтобы сделать не по-людски, а по-своему. Где же тут характер?

8 мая

Четвертый день дождь... От скуки разбираю библиотеку... Все больше мистические книги – коллекция моего прадеда по матери, Никиты Афанасьевича Ладьина. Богач-вельможа XVIII века – и вольнодумец, и мистик: обычное смешение той эпохи! – он всю свою молодость возился с магами, заклинателями, дружил с Сен-Жерменом, Месмером, Калиостро, принадлежал к розенкрейцерской ложе. Потом пристрастился к путешествиям, изучил восточные языки, лет пятнадцать провел в скитаниях по азиатским землям и вернулся в Россию полуфакиром, человеком не от мира сего, – одаренный способностью ясновидения

и редкою магнетическою силою. Он умер 22 марта 1832 года в один день и час с Гете, которому был приятелем, и, говорят, предсказал это совпадение за день до кончины.

Покуда в библиотеке нет ничего нового – по крайней мере, для меня... Есть, конечно, большие редкости, и я рад, что имею их под рукою, но все уже читано. Я ведь по духу прямой наследник прадеда Никиты Афанасьевича, даром что воспитался в строгой, рассудочной, положительной школе, в презрении к супернатурализму, в привычке считаться только с осязательными фактами. Кровь взяла свое. Мое материалистическое воспитание пригодилось мне лишь к тому, что, едва я стал самостоятельно думать, я интересовался исключительно явлениями, которые представляются нам выше материи, стараясь подогнать их под рамки своего знания. Твердо веруя, что на свете нет ничего сверхъестественного и все объяснимо логическим путем физики, химии и математики, что хоть иного мы еще и не умеем объяснить, не только не умеем, а не можем, – я, однако, исколесил весь земной шар в жадной погоне именно вот

за тем, чего мы еще объяснить не умеем. Недаром же один французский журналист, после interview со мною, заключил свою статью меткою фразой: «Это Фауст, сделавшийся авантюристом».

Двенадцать лет тому назад я, чтобы ознакомиться с средневековой демонологией, совершил путешествие в Париж и Рим... В Ватикане я изучал пергаментные фолианты, прикованные к полкам железными цепями: старинные суеверы воображали, что если на эти книги не надеть кандалов, то черти непременно унесут их, чтобы лишить людей возможности изучать формулы и знаки, посредством которых Соломон, Альберт Великий, Корнелий Агриппа, Парацельс и Фауст покоряли себе нечистую силу. Средство довольно благоразумное, если не против чертей, то против людей. Не знаю, сильно ли опасаются черти каббалистических сочинений, но между людьми, наверное, всегда найдется множество охотников стащить книгу, указывающую им дорогу к дьяволу.

Однако в библиотеке прадеда я нашел их без всяких цепей, и – ничего, целехоньки. Лю-

ди здешние не понимают библиографической ценности этих редкостей, а черти на Волыни – либо безграмотны, либо зазевались, по хохлацкому ротозейству, либо стали вольнодумцами и не нуждаются, по нынешнему времени, в магической литературе.

9 мая

Наконец любопытная находка – латинский in quarto[1], в телячьей коже, анонимный, печатан в Кельне, год издания вырван... по печати и заставкам не старше первой половины XVII столетия. Название: «Natura Nutrix, aut Curiosa de Stellis, verbis, herbis, lapidibus, eorumque effectis et actionibus»[2]. Автор неизвестен... Мне еще не попадался в руки этот «физиолог», как звались подобные сочинения в средние века.

Читается трудно... варварская схоластическая латынь... И чушь страшная... Но меня занимает автор, а не книга. То-то был фанатик! Хоть бы одно слово сомнения в своих знаниях, недоверия к своим чудесам. У него нет гипотез – все аксиомы. Рубит прямо и повелительно: Misce, fac, divide![3] Произнеси та-

кие-то и такие-то заклинания, и готово: совершится такое-то чудо, такой-то и такой-то черт покажется тебе в решетке.

Курьеза ради я проделал один из рецептов, произнес заветную формулу – однако дьявол *in persona*[4] не соблаговолил ко мне пожаловать. Впрочем, может быть, ему помешали: как раз в эту минуту ко мне постучался мой старый Якуб, чтобы доложить, что приехал ко мне с визитом наш уездный врач. Зовут его Коронатом Вячеславовичем Паклевецким. Он из смоленских дворян. Веселый человек.

– Знаете, – говорит, – нас, смоляков, дразнят: кость-то шляхетная, да собачьим мясом обросла... Это русские. А поляки говорят про нас другое: пул пса, пул козы – недовярок Божий...

Образованный, живой, довольно остроумный. Брюхо Гаргантюа, губы младенца. Но мне он все-таки не понравился. Что-то уж очень много развязности... думается мне, что Паклевецкий совсем не такой душа человек, каким хочет казаться. Черненькие глазки его щурятся в постоянную улыбку, но взгляд остается холодным и сторожким... Точно доктор

всегда за тобою следит, а самого его – нет, дудки! врасплох не поймаешь! А есть на душе у него что-то скверное, нечистое... есть! Впрочем, если только у него вообще есть душа, а не пар, как у кота Васьки.

10 мая

Солнце выглянуло... Тепло, свет и аромат... Я пробыл целый день в парке... Ушел только с закатом солнца.

Проходя домой, вижу вдали, между двумя кустами жимолости, розовое пятно. Подхожу ближе, – пятно оказывается дамою – и даже очень красивою. Надо полагать, страстная любительница природы: уставилась на закат и не сморгнет; а глаза огромные, прекрасные, голубые; волосы, как золото. Я поклонился. Дама оглядела меня с изумлением, отдала поклон и, сконфузясь, скрылась за деревьями так быстро, что я не успел ни слова ей сказать, ни последовать за нею. Только раза два мелькнуло в кустах розовое платье... Очаровательное создание! Я даже рад, что не удалось познакомиться. В этой немой мимолетной встрече было что-то поэтическое.

С «Natura Nutrix» наконец развязался. Любопытною показалась мне только следующая легенда: «В стране диких монголов, где берут свое начало пять рек, изливающихся в Индейское море, растет папоротник, называемый Огненный Цвет, добываемый туземцами с великими трудностями, потому что гнездится он в глубине диких ущелий, между снежными горами, на неприступных топях и трясилах. Но туземцы не боятся ни трудностей, ни лишений, презирают опасность самой жизни своей, лишь бы достать куст Огненного Цвета; владеющий же таким сокровищем не уступит его, ни даже если предложить золота в десять раз против его веса. Цвет этот имеет великую и чудесную силу. Кто владеет им, видит, как бы сквозь хрустальную стену, все золото в жилах и россыпях под землею. Месторождения же золота суть в то же время и месторождения жизни. Владея Огненным Цветом, легко достать из земли жизненные волокна, и тогда человеку тому не страшны угрозы смерти: он будет жив, пока сам не пожелает избавиться от тягостей земного бытия. Он может воскрешать мертвых, соеди-

нять в существа телесные атомы и элементы, рассеянные в воздушных пространствах, вызывать чувство и голос в бездушных предметах. Но достать Огненный Цвет удастся едва ли одному человеку в столетие; ибо растение охраняется неусыпною ревностью злых духов, всегда враждебных человеку и закрывающих для него двери благополучия. Так как злые духи сами не могут, по божественному милосердию, касаться до Огненного Цвета – разящего их, как молнией, если он не был еще в руках человеческих, – то, когда искатель подступает к таинственному растению, бесовская сила окружает его со всех сторон и, допустив человека сорвать цветок, затем страшит его зрелищем всяких чудовищ, пока человек от ужаса не умрет или не выронит драгоценного цветка, пламенеющего в руке его».

Похоже на наши славянские поверья. Неудивительно: легенда идет с Тибета, а вся мистика – родом оттуда.

Спрашивал Якуба о розовой незнакомке.

Недоумевает:

– Нету у нас такой во всем околотке.

Я пошутил:

– Уж не русалка ли это была?

Он очень спокойно возразил:

– Нет, теперь у нас русалок нет.

– А прежде были?

– Эге!

– Отчего же они перевелись?

– А от пана грабего Ксавера Тадеуша, дедушки вашего.

– Как же он их повывел?

– Известно как: стал ловить, а которых поймает – пороть.

– Русалок-то?

– Эге!

– Да ты врешь, Якуб: как же можно русалку выпороть! Она – дух!

– Эге! Не знали вы, пане грабя, дедушки вашего.

11 мая

Заезжал доктор, привез целый ворох сплетен. У него по этой части талант замечательный. Я – в обмен – рассказал ему свою встречу в парке. Тоже руками развел:

– Гм... чудно... Кто бы такая?.. Надо разуз-

нать... Этого даже мой гонор требует. Уездный врач должен быть всеведущим и вездесущим.

Он шутил, но острый колючий взгляд его был серьезнее обыкновенного. С чего бы? Уж нет ли у него поблизости зазнобы, не ее ли подозревает он в загадочной гостье моего парка? А он, надо думать, преревнивый и в ревности злой. Такие толстяки, простодушные на вид и хитрые на самом деле, всегда злецы и тираны в своей домашней жизни.

Показал ему «Natura Nutrix». Заинтересовался страшно. Сперва издевался над невежеством средневековых естествоведов, хохотал, выхватывал из книги разные наивности и нелепости, а потом заговорил на тему: как удивительно, что самые простые идеи даются человечеству позже всего.

– Вот хоть бы эта «Natura Nutrix». Смотрите: какая тщательность работы, кропотливость изысканий. Прямо – дело целой жизни. И весь труд – впустую. Человек тысячу лет вертелся около химии, электричества, магнетизма, держал много раз в руках их идеи, – все-таки не мог их найти... Точно в жмурки играл с наукою, ловил ее с завязанными гла-

зами... А найти было так просто: стоило только отказаться от идеи о сверхъестественных вмешательствах в жизни человека и природы, стоило только условиться, что все существует и движется само по себе, своею собственной силою, – и все нашлось: и химия Лавуазье и Бертоло, и электричество Гельмгольца и Эдиссона, и гипнотизм Шарко...

Он долго ораторствовал, нападая на мистику и, в особенности, на современные сатанические и теософические культы, с ожесточением – точно бедняга-сатана был его личный грозный враг. Мне стала смешна горячность его полемики с пустым местом.

Я сказал:

– Поздравляю вас: вы прекрасный оратор. Вы очень искусно разбили современную демономию и вполне доказательно отрицаете дикости мистицизма. Но известно ли вам острое выражение одного француза-теолога? Он говорит: «Le chef d'oeuvre de Satan est de s'être fait nier par notre siècle...»

Паклевецкий насторожился, задумался – точно перевел про себя фразу – и закатился громким и искренне веселым смехом:

– Но послушайте... ведь это – превосходно! Это – черт знает как метко и верно!.. «Шедевр сатаны в том, что он заставил наш век отрицать его существование...» Очень, очень замысловато. Молодец француз! Ловко потрафил, собака!

Он смеялся до самого отъезда... Но в экипаже – я видел из окна – нахмурился... Нехорошее у него лицо, когда он хмурится, и нехорошую душу оно обличает. Я вижу Паклевецкого насквозь и никогда не доверюсь ему ни на мизинец! И он меня не любит. Не знаю, за что, но я чувствую, что не любит.

12 мая

Тайна розовой дамы объяснилась. По произведенному Якубом следствию обнаружено, что розовое платье, подходящее к моему описанию, имеется только у панны Ольгуси, кузинки пана ксендза Августа Лапоциньского из соседнего Заборья, заведующей домом и хозяйством его велебности: «Une demoiselle pour faire tout»[5] – называют эту должность французы; и – что панна Ольгуся, сторая Евиным любопытством видеть новоприезжего

здановского графа, уже неоднократно делала в наш парк нашествия, вместе со своею покоювкою, якобы за ягодами, хотя до ягод еще – добрые две недели.

Приедет Паклевецкий, подразню его: всезнайка, а не догадался!

О панне Ольгусе Якуб говорит с самою коварною и злодейскою улыбкой, ясно намекая всею своею рожею старого, еще крепостного Лепорелло:

– Ежели пану графу угодно свести интрижку, пусть пан граф не зевает, – тут клюнет!

Однако черт возьми этого велебного Августа! Даже непозволительно обзаводиться для хозяйства такую хорошенькою кузиною...

14 мая

Отправился вчера кататься верхом, и Корабеля угораздило расковаться как раз у Заборья... В результате я провел вечер у пана ксендза Лапоциньского, получил от него два мата в шахматы, пил чай и ел варенец из белых ручек панны Ольгуси. Ольгуся очень красивый двуногий зверь. Не понимаю, как показалась мне только что не за фею эта сытая и здоро-

вая деревенская красавица с формами Цереры и широко раскрытыми васильковыми глазами? По первому впечатлению, я чуть было не усомнился:

– Да это не она... Совсем другая фигура, другое лицо...

Но потом лукавые улыбки и хитрые намеки панны Ольгуси убедили меня, что предомною действительно моя незнакомка... Всю поэзию встречи надо, таким образом, поставить на счет зелени парка и красных лучей вечернего солнца...

15 мая

Опять задождило... Дробные, мелкие и частые, словно сквозь сито, капли барабанят с утра по оконным стеклам... Холодно и сыро на дворе, в доме неприветливо. Тоска! Хоть бы доктор завернул, что ли... Нашел в библиотеке записную книжку прадеда. Вся исписана рецептами, давно вышедшими из употребления... Средства все – возбуждающие жизнедеятельность: железные препараты, arphrodisiaca. Почти половина книжки занята тайнописью. Ключ к шифру найти не трудно,

вероятно, да лень и, наверное, не стоит. Знаю я тайны российских мистиков XVIII века! Убьешь три дня на пробы и догадки, а в результате расшифруешь какой-нибудь необыкновенно важный секрет – вроде того, что касторовое масло имеет особенно сильное действие при новолунии, а в полнолуние лучше прибегать к ревеню...

16 мая

Отдали визит Лапоцинский с панной Ольгусей. В разговоре я назвал Ольгусю панной Лапоцинской и ошибся: оказывается, она – Дубенич. Это литовская шляхетская фамилия, давно поселившаяся в нашем краю. У Дубеничей в гербе крыса, которая грызет золотой желудь. Панна Ольгуса толкует свой герб таким образом:

– Крыса – это я, последняя из Дубеничей, нищая, как костельная мышь; а желудь – единственная пища, которою могла бы я пробавляться, если бы его велебность не кормил меня хлебом.

Но сам ксендз Август – родовитый поляк с гонором, и насмешки Ольгуси над крысою и

желудем, кажется, приходится ему очень не по вкусу.

Кокетничала со мною Ольгуся весь вечер и на все лады – даже исторически.

– Мне, пан грабя, – говорит, – собственно, не знакомиться с вами, а бежать от вас следует.

– Это почему?

– Потому что вы мне опасны.

– Много чести, панна Ольгуся! уверяю вас, что я – самый смиренный человек на свете...

– Не верю! Да хоть бы и так... Все же вы Гичовский, а я Дубенич...

– Так что же?

– Как? разве вы не знаете, что между Гичовскими и Дубеничами есть роковая связь?

– Неужели? Очень приятно слышать!

– Да уж там приятно ли, неприятно ли...

Вы слышали, конечно, про Зося Здановку?

– Ну, еще бы не слышать!

Зося Здановка – героиня нашей фамильной легенды. Она жила лет полтора ста тому назад, была простая шляхтянка с фольварка под Здановым. Грабя Петш Вавжинец Ботва Гичовский, коронный гетман, наш предок,

влюбился в Зося, увез ее. Несколько лет они жили счастливо. Потом Зося умерла скоропостижно, как говорят, отравленная родными графа, струсившими за наследство. Для Зоси был выстроен палац и разбит парк в Зданове. Говорят, будто граф Петш похоронил Зося где-то в парке, насыпал над нею курган и поставил ей чудесный памятник со статуей – такую прекрасною, точно в нее вошла душа Зоси, такую схожею, точно Зося ожила в ней. Но наследники уничтожили статую и приказали сровнять с землею могилу, оскорблявшую их аристократическую гордость. В народе же верят, будто эта дикая выходка имела ту причину, что невинно загубленной Зосе не лежало спокойно в могиле – ее статуя стонала и плакала по ночам, бродила по парку и смущала черную совесть убийц.

– Так вот, – с торжеством продолжала панна Ольгуся. – Эта Зося была из Дубеничей, и я происхожу от нее по прямой линии.

Прецедент нельзя сказать, чтобы неприятный. Признаюсь откровенно: я ничуть бы не прочь разыграть роль графа Петра при такой Зосе, как панна Дубенич.

У пана Августа, кроме шахмат, нашлась еще страстишка: он рьяный разбиратель ребусов, шарад, тайнописи и т. п. Очень рад: теперь я знаю, как занимать его и в то же время оставаться незанятым с ним самому. Я подсу- ну ему записную книжку дедушки Ладьина. В ней столько страниц написано шифром, что милейшему ксендзу хватит работы на месяц.

17 мая

Я очень смущен... Сегодня опять, на том же самом месте, в тот же самый час, я встретил в парке... нет: вернее сказать – не встретил, а только видел издали – розовую даму... и это не панна Ольгуся, хотя немножко похожа на нее. Вероятно, дама заметила меня, потому что видел я ее всего несколько секунд, а затем она – как и в прошлый раз – исчезла в зелени... Я пошел было за нею следом, но уже не догнал – и только слышал треск хвороста под ее ногами. Если бы не это, я принял бы всю встречу за галлюцинацию, за сон. Но сновидения не имеют тяжести, и хворост под ними хрустеть не может. Ну, погоди же – изловлю я тебя, прекрасная незнакомка! Не сегодня, так

завтра... Благо ты повадилась в наши Палестины!

18 мая

Ух, какую воробьиную ночь пережили мы, здановцы! С вечера было душно. Я рано лег спать и спал дурно, под кошмаром. Проснулся: дом трясется от грома, а в щели ставен сверкает синяя молния. Я люблю грозу. Разбудил Якуба и приказал ему отворить ставни в кабинете. Чудное было зрелище. Когда небо вспыхивало голубым пламенем, в парке виден был каждый лист, трепещущий под каплями дождя, совсем бриллиантового в этом грозном освещении... Буря кончилась таким могучим ударом грома, что я вскочил в испуге с подоконника: молния блеснула мне прямо в глаза, и вместе с нею все небо точно рухнуло на землю... Гроза уничтожила один из лучших старых дубов нашего парка. Но нет худа без добра: ливень размыл курган – неподалеку от того места, где имел я две встречи с розовой дамою, и в размыве нашлись обломки женской статуи замечательно художественной работы... Налицо: нога с коленом,

плечо, грудь и обе ручные кисти. Удивительный мрамор – я такого еще не видывал: нежно-палевый, точно чайная роза. Должно быть, из каких-нибудь восточных ломок. Пока что сложил обломки у себя в кабинете, а ручки поместил на письменном столе, как пресс-папье... прелестные ручки; большой скульптурный талант воплотился в эти две нежные кисти с тоненькими и длинными пальчиками.

19 мая

Паклевецкий решительно не может равнодушно видеть мало-мальски порядочной вещи; сейчас начинает клянчить: подари да подари... То просил отдать ему «Natura Nutrix», теперь влюбился в откопанные вчера ручки... А еще, говорят, бессребреник: не берет денег с больных, кроме самых богатых панов... Странно, что, несмотря на бескорыстие, его не любят в народе. Я разговаривал с хлопами. Говорят:

– Пан Паклевецкий – доктор – что греха на душу брать, – каких и в Киеве нет: захочет – мертвого из домовины поднимет. Только у него нехороший глаз и тяжелая рука. И всем,

кого он лечил, потом не повезло; у Охрима Мокрогуза хата сгорела, у Панька дочка байструка родила, у кого злодей камору обчистил, у кого корова пала али коней свели... И бес его знает, какой он веры: не ходит ни в костел, ни в церковь, ни в жидовскую школу...

Я пересказал этот разговор Паклевецкому. Он хохочет по обыкновению:

– Ишь, хамы! Подметили-таки мои неудачи. В самом деле меня преследует какой-то злой рок: со всеми моими большими приключениями самые неприятные сюрпризы и скандалы...

– Пока я еще не испытываю на себе вашего вредного влияния, – пошутил я, – и со мною ничего сюрпризного не случилось...

– Да ведь вы у меня еще и не лечились. А впрочем... ба-ба-ба! – Паклевецкий лукаво подмигнул. – Как же ничего не случилось? А разве вы еще не влюблены в панну Ольгусю?

Вот тебе раз! О, провинция, всевидящая, всезнающая, вездесущая! а – главное – всеплетничающая!

– Разумеется, нет... Да откуда вы знаете, что мы знакомы?

– Слухом земля полнится... Я даже знаю, что пан ксендз Август удостоился получить от вас в подарок какую-то старую рукопись и теперь по целым дням ломает над нею свою мудрую лысую голову...

А кстати отметим, благо к слову пришлось: ведь ксендз-то Август – в самом деле молодец, недаром хвастался своим мастерством по тайнописи! Разобрал-таки кусочек рукописи, – она оказалась французскою, – сегодня прислал мне перевод... Дикое что-то: «Цвел 23 июня 1823... цвел 23 июня 1830... оба раза не мог воспользоваться... глупо... страшно... больше не увижу... знаю, что скоро смерть – не дождусь... а мог бы... сын не верит... быть может, кто-нибудь из потомк...» – дальше тайнопись ведется, вероятно, на каком-нибудь языке восточного происхождения: подставляя по найденному ключу французские буквы, ксендз получал лишь неуклюжие слова почти из одних согласных... И только на одной странице, с краю, четко записан ряд цифр: 1823, 1830, 1837, 1844, 1851, 1858, 1865, 1872, 1879, 1886, 1893, 1900... Последовательная разница между цифрами – 7... По всей вероятно-

сти, прадед предсказывает какое-нибудь событие, должное повторяться каждые семь лет... «Цвел 23 июня 1823 года...» Кто цвел? Кактусы, помнится, бывают семилетние...

24 мая

Приходится не то хвастаться, не то каяться и разбираться в угрызениях совести. Поехал к Лапоциньским на три часа, а прогостил три дня. Панна Ольгуся – моя. Мы не объяснялись в любви, не назначали друг другу свиданий, но вышло как-то, что оба очутились, за полночь, в вишневом саду ксендза Августа, и – не успел я спросить: «Отчего вы не спите так поздно, панна Ольгуся?» – как она уже трепетала в моих объятьях, пряча на моем плече свое жаркое лицо, задыхаясь и лепеча бесвязные жалобы...

Мы разошлись, когда восток уж загорелся зарею. На расставанье Ольгуся вдруг вздрогнула в моих объятьях и тревожно прислушалась.

– Это что?

В воздухе дрожал долгий стонущий звук... Должно быть, выпь кричала или тритоны

расстонались в болоте...

Возвратясь в свою комнату, я, пока не заснул, все время слышал этот протяжный стон, и моей, не совсем-то чистой, после неожиданного свидания, совести чудился в нем чей-то таинственный упрек: «Зачем? Зачем?»

«Отвяжись! – со злобою думал я, – что пристал? Чем я виноват? Я не ухаживал за нею, не заманивал ее... сама – без оглядки – бросилась мне на шею!»

Спал я, как убитый, – и поутру едва вспомнил, со сна, чего мы натворили вчера. Как водится, пришел в сквернейшее настроение духа и вышел к утреннему кофе злой-презлой – полный страха, что сейчас встречу заплаканное лицо, красные глаза, полные сентиментальной укоризны, услышу плаксивый голос, вздохи, жалобные намеки, – весь арсенал женского оружия на такой случай... Ничуть не бывало: панна Ольгуся улыбалась мне всеми ямочками своего розового лица, щебетала, как жаворонок, и ее синие глаза были полны такого веселого счастья, что у меня сразу камень с сердца долой, и даже завидно ей стало.

Ксендз Август был в костеле. Мы остава-

лись одни все утро.

– Послушайте, Ольгуся, – сказал я, – вы знаете, что я не могу на вас жениться?

Она очень покраснела и – мы сидели рядом – прижалась ко мне.

– Я и не рассчитываю... Я просто люблю вас.

– Надолго?

– Пока вы будете меня любить.

– А потом?

– Не знаю...

Она засмеялась, глядя мне в глаза:

– Я никогда не знаю, что сделаю с собою. Вы думаете, я знала вчера, что приду ночью в сад? Бог весть, как это случилось... В меня иногда вселяется какое-то безумие, я теряю голову и живу иногда, сама себя не чувствуя... И делаю тогда не то, что надо, но только то, чего я хочу...

– А я всю жизнь так прожил, Ольгуся!

В глазах ее мелькнул огонек, она взяла мое лицо в обе ладони, мягкие и душистые, и приблизила к своему.

– Ты меня не жалей, – сердечно сказала она, – пропаду так пропаду... Должно быть, в

самом деле уж такая судьба наша, Дубеничей, пропадать от вас, графов Гичовских... Помнишь, мы говорили с тобою про Зося Здановку?

– Еще бы не помнить!

– Ну, так ты – мой граф Петш, а я – твоя Зося!.. Кстати, говорят, будто я очень похожа на нее.

– Откуда же знать это? После Зоси не осталось портрета. Знаменитая статуя ее – если только существовала она в самом деле, если она не украшение народной легенды...

– Конечно, существовала! – перебила меня Ольгуся.

– Скажите, какая уверенность! Почему ты знаешь?

– Потому, что я знала человека, который видел и статуя, и как ее разбили.

– Олечка! Ты мне сказки рассказываешь.

– Да нет же! хоть дядю спроси!.. видишь ли, лет пять тому назад у нас на фольварке умер закрыстьян Алоизий...

– Неужели только пять лет тому назад? Я помню его отлично: когда я был совсем мальчишкой, ему считали уже много за сто лет.

– Дядя говорит, что ему было верных сто пятьдесят, если не больше... Когда дядя был совсем молодой, Алоизию еще не изменяла память, и он рассказывал дяде о гайдамаках, точно это вчера было. Железняк в Умани посадил его отца на кол. Я застала Алоизия уже совсем живым трупом... высох, как мумия... в чем только душа держалась! Он всегда лежал на солнышке, покрытый рогожею, и спал... Однажды иду мимо, он смотрит на меня своими мертвыми глазами – страшно так их вытаращил! точно я за чудовище ему показалась! И вдруг засуетился, силится встать...

«Лежите, лежите, Алоизий, – говорю я ему, – не беспокойте себя, вы человек старый, а мы с вами свои люди... обойдемся без церемоний!..» Он кивает головою, бормочет что-то... Вечером присылает парубка за дядею: «Напутствуйте меня, ваша велебность, я сегодня умру...» – «С чего ты взял, Алоизий?» – «Я сегодня видел привидение... Зося Здановка приходила за мною... как живая... говорила со мною...» – «Что же она тебе сказала?» – «Да ничего такого страшного: „Лежите, – говорит, – лежите, Алоизий!“ – только и всего... А

все-таки я помру, потому что, за кем приходит покойник, тому и самому за ним идти». А я уже рассказывала дяде, как видела Алоизия. Дядя рассмеялся: «Ах ты, старый, выдумал тоже! Какая же это Зося Здановка? Это моя племянница, панна Ольгуся Дубенич, – сейчас я покажу тебе ее». И велел меня позвать. Алоизий, пока глядел на меня, только крестился: так я казалась ему чудна. Говорил, что я похожа на Зося, как две капли воды, – голос в голос, волос в волос...

В таком случае романическое увлечение моего предка понятно для меня больше чем когда-нибудь. Ну, что же? будем играть в графа Петша и Зося Здановку!.. Не знаю только – почему, пока Ольгуся вела свой рассказ, у меня странно ныло сердце каким-то суеверным, недобрый предчувствием, а в ушах снова болезненно зазвенело вчерашнее: «Зачем? Зачем?»

25 мая

Ругался и неистовствовал, как татарин. Уезжая к Лапоциньским, я запер свой кабинет, но ключ забыл в замочной скважине. Я

запер – потому что спешил и не успел убрать своих бумаг, разбросанных на письменном столе. Разумеется, кто-то без меня похозяйничал в кабинете. Я очень хорошо помню, что ручки статуи лежали врозь, на двух концах стола, одна – на рукописи «Законы сновидений», которую я пишу уже пятнадцатый год: все желаю затмить старика Мори, да что-то не затмевается! – другая на связке моих печатных трудов... Между тем сейчас обе ручки лежат вместе, одна на другой, точно сомкнувшись в умоляющем жесте, на печатной связке, и связка перевернута. Прежде наверху была моя брошюрка «Спиритизм и дегенерация», теперь – хвост немецкой статьи из «Психологических анналов»: полемика с покойным Бутлеровым... Ненавижу, когда роются в моих бумагах, хотя и не имею никаких секретов. Прислуга клянется и божится, что она ни при чем: будто бы даже не входила в кабинет. Врут, конечно. А не врут – тем хуже. Уж лучше пусть безграмотные лакеи копаются в моей литературе, чем делать ее достоянием провинциального любопытства. Спрашиваю Якуба, кто был без меня. Говорит, будто,

кроме пана Паклевецкого, никто не заезжал за мое отсутствие. Уж не он ли постарался? От этого и не то станет! Я уверен: имей он малейшую возможность, – мало, что перечитал бы все бумаги на столе, но заглянул бы и в ящики, и ключик бы подобрал, и замочек бы сломал... Но Якуб уверяет, будто он, узнав, что меня нет дома, выпил, не раздеваясь, в столовой рюмку водки, закусил пирожком и уехал...

27 мая

Я нехорошо засыпаю в последнее время – тяжело, смутно. Что-то душит за горло, подкапывает истерическим клубком к сердцу. В ушах, сквозь сон, чуть-чуть и уныло звенит, как далекий стон молодых лягушек, пока не убаюкает меня... Я уже сплю, уже сны вижу, а все-таки чувствую, будто кто-то реет надо мною, дышит на меня и все звенит: «Зачем? зачем? зачем?»

Не могу сказать, чтобы это ощущение чужого дыхания на коже доставляло мне удовольствие: оно похоже на эпилептическую ауру... Но мне уже тридцать семь лет. Паду-

чая болезнь в эти годы не проявляется – разве у алкоголиков. Так ни я, никто другой из нашей семьи никогда пьяницами не были... Посоветовался с Паклевецким. Он насказал мне страстей. Спрашивает:

– У вас не бывало зрительных галлюцинаций?

– Нет... обманы зрения, иллюзорные явления, конечно, случались...

– И галлюцинации будут.

– Вот так обрадовали! На каких же основаниях вы пророчите мне этакую прелесть?

– На самых простых: вы слегка меланхолик; нервное расстройство пошло у вас по периферии, чувствительность всюду повышена, следовательно, передачи мозговых отправлений совершаются неправильно. То, что называется – психическая дистезия... Ну-с, при всех этих условиях, да еще при вашем фантастическом настроении, к переходу от иллюзорных явлений до галлюцинаций очень недолго...

– Откуда вы взяли, что у меня фантастическое настроение? Напротив!

– А вы все разную чушь читаете да разные

дива видите.

– Никаких див я не видал... Бог с вами! А что до дедовских книг, то, полагаю, научный интерес к ним не имеет ничего общего с суеверием. Эта дрожь в воздухе, этот стонущий звук, это дыхание за моими плечами тревожат меня исключительно, как физическое явление – доказательство моего недомогания. Я знаю очень хорошо, что все это происходит во мне самом, а вовсе не вне меня. Я, пан Коронат, бывал в таких фантастических переделках, что, если уж тогда не сделался фантастом, то теперь и подавно не сделаюсь.

Нет, голубчик, лекарствица для тела вы мне пропишите, пожалуй, а души не касайтесь: по этой части я сам себе доктор.

Глаза Паклевецкого блеснули.

– Тем лучше, тем лучше! – сказал он, потирая ладони, и принялся убеждать, чтобы я не оставался один, – «сам с собою» – как можно больше развлекался и бывал в обществе...

– Покорнейше благодарю за совет! Но где я в нашей глуши найду общество?

Он ухмыльнулся, подмигивая.

– А хоть бы у Лапоцинских?.. Кстати, как

здоровье вашей панны Ольгуси?

– Знаете, доктор, – строго заметил я, – деревенская свобода допускает много лишнего в речах, однако и ей бывают границы.

Он залился своим обычным неискренним хохотом – хохотом без смеха, при холодных и серьезных глазах:

– Ну, не буду, не буду! – слово гонору, в последний раз! Однако... – Он пристально посмотрел на меня. – При первом нашем разговоре о панне Ольгусе вы не рассердились, а теперь вот как вспыхнули... Э-ге-ге-е!

И он ударил себя ладонью по лбу: «Ах, мол, я телятина!»

Не уйми я его, он распространялся бы до бесконечности. Скалить зубы, кажется, он еще больший мастер, чем лечить. А относительно обмана зрения он прав: глаза мои работают неправильно. Сегодня, например, когда он подошел к моему письменному столу и оперся на него своими толстыми кривыми пальцами, я ясно видел, что мраморные ручки затрепетали, как живые, быстрою и сильною дрожью, точно от испуга...

1 июня

Давно ничего не записывал... Ольгуся меня совсем завертела. Вчера прилетела ко мне верхом – одна, уже под вечер... Чтобы проводить Ольгусю до дома, я велел оседлать Корабеля. Возвращаюсь с крыльца в столовую – Ольгуся сидит бледная, в глазах испуг, а сама хохочет.

– Что с тобою?

– Представь... вот глупость-то!.. – перепугалась сейчас до полусмерти... вот даже не могу успокоиться, так бьется сердце...

– Да чего же, чего?

– Я хотела поправить шляпу, прошла в гостиную... Там уже сумеречно... И вдруг вижу, будто мне навстречу идет женщина... Приглядываюсь: эта женщина – я же сама... я как взвизгну, да бежать назад в столовую... и только здесь, при свете, сообразила, что у тебя там трюмо во всю стену, и, стало быть, я струсилась собственного своего отражения.

Ольгусе тоже очень нравятся «ручки», я подарю их ей в день рождения. Только надо обломанные места обделать в металл... Любопытно, что руки Ольгуси похожи на «ручки»,

как две капли воды, разве немного пухлее. А то даже окраска кожи напоминает палевый мягкий мрамор моей находки...

3 июня

Вот уже несколько дней я живу под гнетом странного беспокойства, которое охватывает человека, когда кто-нибудь сосредоточенно и страстно о нем думает. В это я верю, потому что много раз испытывал на себе. Магнетические токи между людьми – сила, ждущая своего Вольта, Гальвани, Гельмгольца, чтобы выяснить законы ее так же логически просто, как теперь выяснены законы электричества. Телепсихоз ничуть не более невероятен, чем телеграф и телефон; а вот, говорят, теперь уже и телефоноскоп изобретен каким-то не то чехом, не то галичанином. Способность к нравственному общению человека с человеком на расстоянии свойственна, в большей или меньшей степени, всем нам; сейчас она – стихийная и, как все стихийное, проявляется лишь пассивно и случайно. Надо, чтобы из смутной, инстинктивной она сделалась определенной, произвольной... и для такого пре-

вращения и требуются Гельмгольцы и Гальвани. Любопытно, однако, – кто же это мучится – и где – участием ко мне и мучит меня вместе с собою?

Якуб клянется, что в мое отсутствие в кабинете происходят странные вещи: что-то двигается, шуршит бумагами; вчера он слышал из-за запертой двери три слабых аккорда, взятых на старинной гитаре, что висит на стене – как украшение – ради своей редкостной инкрустации. Мыши, конечно, – если только Якубу не приснилось. Сам старик уверен, что это шалости какого-либо из челяди и грозит:

– Нехай поймаю бисовых хлопцев! Як начну терты та мяты, будут воны мене помина-ты!

5 июня

Пью *cali bromatum*, обтираюсь холодной водою, а толку мало... Паклевецкий прав: мои иллюзорные ощущения начинают переходить в галлюцинации. Сегодня утром я работал фейерверк для дня рождения Ольгуси, – пан ксендз Лапоциньский собирается справ-

лять праздник на весь свет, – и вдруг в уголке серебряного подноса, что лежал у меня на столе, заваленный всякою пиротехнической дрянью, я увидел, что сзади меня стоит, тихонько подкравшись, сама Ольгуся и смотрит, через плечо, на мою алхимию... Я, очень изумленный ее появлением в такую раннюю пору, оборачиваюсь с вопросом:

– Откуда ты? Какими судьбами?

Но, вместо Ольгуси, вижу лишь мутное розовое пятно, которое медленно расплывается кружками, как бывает, когда долго смотришь на солнце и потом отведешь глаза на темный предмет...

Ольгуся тоже недомогает сегодня. Всю ночь – жалуется – мучил ее тяжелый кошмар: мраморные ручки, лежащие на моем письменном столе, схватили будто бы ее за горло и душили, пока она, готовая задохнуться, не вскрикнула и не проснулась – на полу, свалившись с кровати. Сновидение было так живо, что, даже открыв уже глаза, она видела еще перед собою мелькание мраморных пальцев и слышала тихий голос:

– Отдай, отдай! Не смей брать мое!

Когда я сказал Ольгусе, что собирался подарить ей ручки, она даже перекрестилась:

– Чтобы я, после такого сна, взяла их к себе в комнату? Сохрани Боже! Да я ни одной ночи не усну спокойно...

Говорю ей:

– Это оттого, что ты много простокваши ешь на ночь.

– Что же мне, из-за твоих ручек от простокваши отказаться? Да когда я ее люблю!

Рассказал ей анекдот о Сведенборге, как, после плотного ужина, узрел он комнату, полную света, а в ней человека в сиянии, который вопиял к нему:

«Не ешь столь много!»

Но у женщин на все есть свои увертки. Говорит:

– А может быть, твой Сведенборг не простоквашей объелся?

И то резон.

6 июня

«...Qu'elle est belle! quelle douce prière luit dans ses yeux bleus qui me regardent à travers la brume mystique! Puissais-je ne pas remplir sa

prière muette? Puissent les forces et le savoir me manquer pour briser sa prison de marbre? Non, je jure sur les roses... (стерто)... ntes àtes joues, fantôme chéri... (стерто)... la fleur fatale... (стерто)... à la vie, interrom (стерто)... uellement».

«...Как она прекрасна! С какою нежною мольбою глядят на меня, сквозь мистический туман, ее синие глаза! Неужели я не исполню ее немой мольбы? Неужели у меня не хватит сил и знания разбить ее мраморную темницу? Нет, клянусь розами... на ланитах твоих, милый призрак... роковой цветок... к жизни, interrompue? прерванной... А что значит uellement? actuellement? cruellement? Вероятно, „interrompue cruellement – прерванной жестоко“».

Этот странный отрывок, дешифрованный из книжки Никиты Афанасьевича Ладина, доставил мне сегодня ксендз Лапоциньский.

О чем говорит он? Почему меня взволновали его темные, испорченные, безумные строки? Что за призрак с розами на щеках? Какой роковой цветок? Какая мраморная темница? Чья жизнь прервана жестоко?

Отчего – пока я, запершись в кабинете, читал записку ксендза – мне казалось, что я не один в этой огромной комнате, что кто-то, незримый, движется и трепещет в ее – как будто сгущенном – воздухе? Перед глазами точно сетка колеблется – сетка из *mouches volantes*[6]... И этот постоянный стонущий звон, молящий и вопросительный, что гонится за мною с той весенней ночи под вишнями... откуда он?

8 июня

Одно из двух: либо я схожу с ума, либо я наконец действительно охвачен тем необыкновенным миром сверхчувственного, доступа в который скептически, но страстно искал я всю жизнь свою и – потому что не находил его – думал, что его нет вовсе. Первое, конечно, правдоподобнее, но... с другой стороны...

*Мой пульс, как твой, играет в
стройном такте;
Его мелодия здорова, как в твоём.*

Мы встретились – мы, то есть я и розовая незнакомка, – снова, среди ясного полдня, в

вишневом садике Лапоциньского. Ольгуся сидела рядом со мною, смеялась, поила меня кофе и намазывала для меня на хлеб янтарное масло, о котором она так смешно говорит польски:

– То властне!

Ксендз, поодаль, полулежал на скамье, вытянув свои старые ноги, с записною книжкою моего прадедушки в руках: вчерашняя удача прищпорила неугомонного шарадомана опять приняться за расшифровку ее – и он без конца пробует над нею то один ключ, то другой. И в это время, когда, наклоняясь к уху Ольгуси, я шептал ей всевозможные нежные глупости и смешил ее до упаду, – в эту-то минуту из глубины вишнеownika выплыло розовое пятно, и предо мною встала другая Ольгуся – такая же прекрасная, как сидевшая рядом со мною, но лицо ее было худо и печально, а глаза смотрели прямо в лицо мне с тоскою, упреком, непонятною, но мучительною мольбою.

О, какое счастье, что я не трус и не фантаст.

«Вот оно! начинается! – молнией мелькну-

ло в моем уме, – обещанная Паклевецким галлюцинация!»

Я не вскрикнул, даже не изменился в лице. А она, вторая Ольгуся, оперлась на наш стол своими нежными палевыми ручками. Я сразу узнал их: они – те самые, что нашел я в размытом грозовым ливнем кургане...

По спокойным лицам панны Ольгуси – той живой Ольгуси – и ксендза Августа я видел, что они ничего не видят... А «она» все стояла и смотрела, пронизывая меня своим трогательным взором, чаруя и покоряя. И я поддавался силе галлюцинации, – она была так жива, настолько наглядна, что я бессознательно, невольно смотрел на это порождение оптического обмана, на этот «пузырь земли», как на реальное существо...

Тогда губы ее дрогнули, воздух тоскливо зазвучал тем самым жалобным стоном, что неотвязно мучит меня по ночам.

– Кто вы? О чем вы просите? – невольно сорвалось с моих губ, – и в тот же момент она пропала, растаяла в воздухе... А живая Ольгуся расхохоталась.

– Я решительно ни о чем не прошу вас,

граф! Что с вами! О ком вы замечтались? Вы бредите наяву...

Я промолчал о своей галлюцинации. Ольгуся суеверна. А видеть чей-либо двойник – есть поверье – нехорошо: к смерти – тому, кого видят. А что... если не галлюцинация? Если...

Прав Паклевецкий, тысячу раз прав: надо вытрясти из головы фантастический вздор! Черт знает, что лезет в мысли... И становлюсь суеверен, как деревенская баба!

9 июня

Вчерашнее видение не дает мне покоя.

Возвратясь от Лапоцинских, я долго сидел перед своим письменным столом, рассматривая таинственные ручки... Я взвесил их на ладони и был поражен, как они легки сравнительно с материалом, из которого сделаны. И мне чудилось, что они становятся все легче и легче, дрожат и трепещут, и холодный мрамор нагревается в моих горячих руках... Не надо иллюзий! не поддамся новой галлюцинации!.. Призову на помощь весь свой скептицизм, буду анализировать трезво, холодно

и спокойно...

Но анализ-то получается неутешительный!

Что я видел?

Я видел прекрасный призрак с розами на щеках, с синими глазами, полными грустной мольбы, – тот самый призрак, что описал, под шифром, прадед Никита Афанасьевич. Что же? Внушил он мне эту галлюцинацию – из-за гроба, шестьдесят один год спустя после смерти, своею мистической болтовнёю? Или в самом деле у нас в доме есть свое родовое привидение, как белая дама – у Гогенцоллернов? и – за неимением другого богатства – оно именно и перешло мне в наследство? Так или иначе, но мы сошлись с прадедом или на одной и той же галлюцинации, или на одном и том же призраке.

Допустим невозможное, т. е. призрак. Если призрак, то – чей? Он – двойник Ольгуси. Закрыстьян Алоизий свидетельствовал, умирая, что Ольгуся – живое воплощение Зоей Здановки. Прадед говорит что-то о *la vie interrompue cruellement*[7].

Смерть Зоей Здановки была насильствен-

ная. La prison de marbre[8]... не намек ли это на статую и монумент Зоси, уничтоженные, быть может, еще на памяти деда, наследниками графа Петра? Эти ручки, так похожие на руки Ольгуси...

Какой же я простак! Как было не догадаться сразу, что случай дал мне открыть забытую могилу Зост Здановки и обломки ее знаменитой статуи – той самой таинственной статуи, что, если верить бредням хлопов, стонала, плакала и бродила по ночам, как будто приняла в себя часть жизни безвременно погибшей красавицы?

Бредни? Бредни? Однако я не знал, по крайней мере не помнил, об этих бреднях, когда встретил розовую незнакомку – как раз там, где они заставляли бродить мертвую Зою, как раз там, где оказалась потом ее могила.

Станный розовый призрак мелькнул мне именно у кургана, откуда майский ливень добыл для меня вот этот странный розовый мрамор, так необычайно легкий, прозрачный и будто мягкий в руке...

Эти ручки – ручки Зоси Здановки, полто-

раста лет спящей в земле. Я сжимаю их и думаю о ней. Зачем приходила она к прадеду – такая же, как ходит теперь ко мне, с тем же выражением в лице, с тою же мукою в глазах?

Что должен был он сделать для нее? Чего не сумел сделать, чтобы успокоить ее страждущую тень? «*Briser la prison de marbre*»... разрушить темницу или освободить из темницы?.. *Fantôme chéri*... *Fleur fatale*... при чем тут *fleur fatale*? Она ли – роковой цветок, по поэтической метафоре прадеда, или... Ба! А первый отрывок, дешифрованный Августом? «Цвел 23 июня 1823... цвел 23 июня 1830... не мог воспользоваться... глупо... страшно...» Не об этом ли роковом цветке идет теперь речь? Что, если восстановить испорченный текст хотя бы в такой форме: «*Je jure sur les roses, fleurissantes à tes joues, fantôme chéri, que je me procurerai la fleur fatale et je te rendrai à la vie, interrompue si cruellement*»[9].

Клятва безумная, но разве не безумно все, что совершается теперь вокруг меня?

«Цвел 23 июня 1823... 1830...» и через семилетний промежуток намечен цвести перио-

дически до конца столетия. Текущий 1893-й год в том числе. Таким образом, всего две недели отделяют меня от тайны de la fleur fatale[10]...

«Может быть, кому-нибудь из потомков удастся, что не удалось мне», – пишет прадедушка, точно завещая мне, своему преемнику по мистической жажде, непонятную, но непременною миссию. Ах, Никита Афанасьевич! Бог тебе судья, заморочил ты мою голову!

10 июня

Нет больше сомнений!

Я знаю теперь, кого я видел в саду, кто заглянул ко мне через плечо, когда я мастерил фейерверк для Ольгуси, кого встретила Ольгуся в гостинной, когда была у меня, – это Зося Здановка.

Пишу это имя твердою рукою, потому что, если даже и помешан, то помешан на ней. Ее имя – та неподвижная идея, около которой вращаются мои мысли.

Вчера вечером – когда меня, одинокого, вновь окружил тот странный, густой, как буд-

то полный незримой, но веской и тягучей материи воздух, что стал в последнее время неизменным спутником моих размышлений, – я вдруг, непостижимым экстазом, почувствовал, что какой-то могучий прилив небывалых сил словно выхватил меня из земной среды и возвысил меня над нею таинственною, сверхчеловеческою властью. Взором упал на мраморные ручки Зоси... Я машинально поднял их со стола, крепко сжимая мрамор, в бессознательном восторге.

Я чувствовал, что она, когда-то воплощенная в этом камне, – здесь, возле меня, что, стоит позвать ее, и она придет.

И я позвал ее...

Тогда от ручек пошли как будто лучи – бледные, белесовато-палевые... воздух пропитался тем мутным брожением, тою эфирною зыбью, которые до сих пор я считал обманом своего больного зрения... Казалось, предомною происходила какая-то полузримая борьба: что-то рвалось ко мне и что-то другое не пускало... Я понял, что должен напрячь все силы своей воли – и я позвал Зося: теперь я уже не сомневался, что это Зося! – еще... и

еще...

И она явилась...

А! теперь я понимаю прадеда!

Она так несчастна! Когда я слышу ее стон, лицо ее искажается таким тяжелым и долгим страданием, что сердце мое разрывается на части, что я, вне себя, готов хоть в ад – лишь бы понять и прекратить ее горе... лишь бы вернуть ей счастье и покой, о которых она рыдает.

Зависит ли это от меня? О, да: иначе – зачем бы именно мне являлась она? Зачем я, а не любой из мужчин, любая из женщин околотка, стали жертвами ее грустного присутствия? Зависит. Я читаю это в ее голубых, отемненных слезами глазах. Она ищет в правнучке – чего не сумел дать ей прадед.

Так выскажись же, чего ты ждешь? чего тебе надо? Не мучь и себя, и меня... Или не можешь? Не вольна? Тень, достигшая материализации, но лишенная слова? Астральное тело, неосязаемое и беззвучное? Но – бесстрастное ли?

Вчера, когда она явилась, я задумался об ее удивительном сходстве с Ольгусею – и вдруг

не узнал ее: так гневно вспыхнули ее глаза... Что значит этот гнев? Чем мешает ей Ольгуся? Любит она меня, что ли, ревнует? Да разве там есть любовь и ревность? А почему нет? – если вместе с телом не умирают другие человеческие страдания, почему должны умереть эти?

Чтобы разбить «фантастическое настроение», как выражается Паклевецкий, я схватил первую, попавшуюся под руку, книгу из библиотеки и стал читать, где открылась страница. Оказалось, Лермонтов. А что попало – не угодно ли?!

*Коснется ль чужое дыханье
Твоих ланит,
Моя душа, в немом страданьи,
Вся задрожит.
Случится ль, шепчешь, засыпая,
Ты о другом,
Твои слова текут, пылая,
По мне огнем.
Ты не должна любить другого,
Нет, не должна:
Ты мертвецу святыней слова
Обречена.*

Словно загадал!.. Нечего сказать – утешил

тельно!

17 июня

Дикий и страшный день!

Она чуть-чуть было не заговорила...

Но прежде чем с губ ее вырвался хоть один звук – вдруг лицо ее исказилось ужасом и отвращением, она потемнела, как земля, опрокинулась на спину, переломилась, как молодая березка, и расплылась серыми хлопьями, как дым в сырой осенний день. А я услышал другой голос – противный и, уже несомненно, человеческий:

– Здравствуйте, граф... Что это за манипуляции вы здесь проделывали?

На пороге кабинета стоял Паклевецкий.

– Как вы взошли? Кто вас пустил? – крикнул я, будучи не в силах сдержать свое бешенство.

– Ого, как строго! – насмешливо сказал он, спокойно располагаясь в креслах. – Взошел через дверь – вольно же вам не запирайтесь на ключ, когда заняты. А пустил меня к вам Якуб. Да вы не гневайтесь: я – гость не до такой степени некстати, как вы думаете.

– Сомневаюсь, – грубо крикнул я ему.

– Сомнение есть мать познания, – возразил он и вдруг подошел ко мне близко, близко... – Так как же, граф? – зашептал он, наклоняясь к моему уху и пронизывая меня своими лукавыми черными глазами. – Так как же? Все Зося? А? все Зося?

Если бы потолок обрушился на меня, я был бы меньше удивлен и испуган. Я с ужасом смотрел на Паклевецкого и едва узнавал его: так было сурово и злобно его внезапно изменившееся, страшное, исхудалое лицо...

– Я не понимаю вас, – пролепетал я, стараясь отвернуться.

– Ну, что притворяться, ваше сиятельство? – холодно сказал Паклевецкий. – Будет нам играть втемную, откроем карты... Рыбак рыбака видит издалека!

– Кто вы такой?

– Как вам известно, – уездный врач Паклевецкий.

– Откуда же вы знаете?

– А вот – представьте себе: знаю. А каким образом – не все ли равно вам?

– Вы подслушали меня или прочитали мои

записки?

– Ну, вот! зачем не предположить возможности, более благородной и лестной для моего самолюбия? Зачем не предположить, что я – ваш брат по занятиям тайными науками, и, с гордостью могу сказать, брат старший – хотя и менее вас откровенный – потому что ушел в них гораздо дальше вас, и могу вам объяснить тайны, о каких не смеет даже грезить ваша мудрость. – Он важно взглянул на меня. – В том числе и тайну Зоси... Вы напрасно ломали голову над хитрою механикою этого ларчика, открывается он очень просто. И вы же сами открыли его, но позабыли, что открыли, и теперь ломитесь в дверь, не замечая, что она отворена настежь...

– Объяснитесь... я не понимаю...

– Очень просто. С помощью вашего друга, лысого ксендза Августа, вы разобрались в главной книжке Никиты Афанасьевича Ладьяна и – отдаю вам справедливость – очень искусно комбинировали разобранное. Когда вы добрались до идеи о Зосе, я вам аплодировал из моего прекрасного далека – даю вам честное слово.

Я молчал, совершенно раздавленный его властными словами: он знал все, видел и слышал все...

– Но вы немного забывчивы, – продолжал он. – Вас сбил с толку *la fleur fatale*... Как же было не припомнить той странички из «*Natura Nutrix*», что вы даже выписали в свой дневник?

– Об Огненном Цвете?

– Ну да. О таинственном тибетском папоротнике, открывающем человеку тайну жизни. Именно он-то и есть *la fleur fatale*, которого искал ваш прадедушка, за которым ходила к нему Зося, а теперь ходит к вам...

– Но какое же отношение...

– Между Зосею и Огненным Цветом? Такое, что Зосю рано со света сжили, Зося жить хочет, в землю ей неохота, – с неприятною улыбкою возразил он, – а Огненный Цвет – в ваших руках – может вернуть ее к жизни. Так ли, Зося? – спросил он вдруг, насмешливо глядя в угол кабинета. И я весь затрепетал, когда хорошо знакомый мне голос – тот самый, что так много дней уже звенел в ушах моих плакучею жалобою – отозвался тягучим – точно

против воли – стоном:

– Та... а... ак!

– Вы слышали! – самодовольно засмеялся Паклевецкий, сделав рукою размашистый жест шарлатана, удачно показавшего новый фокус. – А теперь, любезный граф, когда я, кажется, достаточно кредитовал себя в ваших глазах, как представитель практического оккультизма, позвольте немножко пуститься в теорию... Что есть жизнь, граф? Наука отвечает нам: жизнь есть сцепление частиц космических и органическое тело, смерть – распадение этих частиц. Кто владеет Огненным Цветом, властен, по своему желанию, поддерживать телесные частицы в постоянном сцеплении, вызывать такое сцепление, когда ему угодно, – то есть жить и позволять жить другим, пока не надоест, то есть вызывать к жизни мертвых в той плоти, как ходили они некогда по этой земле, воскрешать и воскрешать.

– Почему это? Какою силою?

Паклевецкий пожал плечами:

– Почему разбросанные опилки железа прилипают кистью к куску магнита? Почему

семь планет держатся в равновесии, притяжением солнечного шара? Разве мыслимо задавать подобные вопросы? Вы признаете ведь магнетические явления в животном мире?

– Да.

– Вы знаете, что есть на земном шаре точки, есть в природе условия, при которых магнетические явления бывают особенно ярки и выразительны?

– Да.

– Ну-с, так место, где растет Огненный Цвет, – именно такое место, и условия его цветения – наиболее благоприятное условие для проявления животного, то есть атомистического, магнетизма. Вот и все.

– Но почему?

– А почему в какой-нибудь смиреннейшей Курской губернии вдруг ни с того ни с сего дурит магнитная стрелка? Почему искони держится морская легенда, может быть, и не во все нелепая, будто полюсы земли – колоссальные скалы сильнейшего магнита, притягивающие к себе все железные части кораблей, а потому и на веки вечные недоступные для мореплавателей? Огненный Цвет тянет к себе

реюющие в мировом пространстве жизненные атомы, как магнит – железные опилки. Воля мастера, что сделать из железных опилок. Воля магика, что вылепить из попадающих в его распоряжение атомов. Больше я ничего не могу вам сказать. Будь я шарлатан и сказочник, я бы мог вам сообщить, что Огненный Цвет есть не иное что, как выродившиеся отпрыски древа жизни, ушедшего в землю, когда Адам и Ева внесли грехом своим смерть в мир... и тому подобные средневековые бредни. Но я жрец науки, а потому откровенно говорю вам: не знаю. В лаборатории природы всегда остаются уголки, куда нашего брата, ни с каким, даже Соломоновым, ключом в руках, все-таки не пускают. Силу и закон Огненного Цвета я вам объяснил: довольствуйтесь этим для практики, без теоретических вопросов.

– Но почему я должен вам верить? Мало ли каких волшебных историй и обобщений из них может насоздать фантастически настроенный ум! А кажется, доктор, – вы, который еще так недавно упрекали меня в фантастическом настроении ума, много опередили ме-

ня в этом направлении. Конечно, если только все ваше поведение сейчас не мистификация, если вы не морочите меня.

– Нет, я вас не морочу. Да я и не требую, чтобы вы мне верили на слово. Проверьте своим опытом, посмотрите своими глазами, осязайте своими руками – тогда и поверите!..

– Ну, это мудрено, – сердито усмехнулся я, – ехать в Тибет мне далеко и не по средствам.

– Да и не надо. Зачем в Тибет? После теории позвольте немножко истории. Вы можете наблюдать тайну Огненного Цвета, не выходя из Здановского парка.

– Как? Вы бредите, доктор!

– Ничуть. Слушайте меня внимательно. Ваш прадед Никита Афанасьевич Ладьин был человек весьма крутой воли и весьма пылко-го воображения. Он был пожалован Здановским маёнтком, когда память Зоей Здановки была еще совершенно свежа в околотке. Заинтересованный рассказами об ее красоте и несчастной судьбе, о таинственном остатке жизни, который сохраняла ее статуя, прежде чем уничтожили ее Гичовские, он влюбился в память Зоси со всею пылкостью, свойствен-

ной этому фантастическому суровому мистик... Влюбился, как Фауст в Елену. Он был человеком больших познаний и редкой магнетической силы. Властью науки, переданной ему азиатскими мудрецами, он вызвал к жизни внешнюю форму покойной Зоси, дал ей способность являться людям, но – лишь на короткие мгновения, как видите ее теперь и вы. Он не был в состоянии ни сделать ее призрак постоянным явлением, ни одухотворить его: для этого ему нужен был Огненный Цвет. Он отправился в Тибет. Опоздав к цветению Огненного Цвета на месте, он выкопал несколько кустов драгоценного папоротника и, с величайшими предосторожностями, перевез их в Россию, надеясь, через семилетний срок, овладеть цветом без новых трудов и испытаний.

Странная улыбка заиграла на губах Паклевецкого.

– Всю жизнь свою холил он это драгоценное растение. Он имел счастье дважды, в семилетние сроки, наблюдать цветение папоротника, но не сумел воспользоваться его чудесными свойствами и умер, не дождавшись

третьего расцвета. По смерти его Зданов запустел, оранжерея разрушилась, а Огненный Цвет, по невежеству садовников, был выброшен в парк, как простой и никуда не годный папоротник. Но так как Огненный Цвет – неумирающее растение жизни, то он не пропал и... в полночь с 23 на 24 июня, как это было рассчитано вашим прадедом и недавно вам открыто ксендзом Августом, Огненный Цвет загорится в вашем Здановском саду.

– Не может быть.

– Если вы захотите видеть, если вы послушаетесь Зоси Здановки, то сами убедитесь, что может. *Qui ne risque, ne gagne rien*[11] – авось вам повезет больше, чем Никите Ладьину. Подумайте: одно движение, одна минута могут сделать вас самым богатым, самым могучим человеком на земном шаре! Ни один мудрец, ни один властитель в мире не в силах дать людям хоть крошечную долю счастья, которое вы получите: способность раздавать щедрою рукою восторги неисчерпаемых богатств и неумирающего бытия!

– Почему же прадед-то не воспользовался Огненным Цветом?

– Потому что между ним и цветком становились могучие силы, столько же дорожащие Огненным Цветом и столько же ищущие обладания им, как и человек... Силы эти встретят и вас, когда вы пойдете искать Огненный Цвет, и предупреждаю вас: без моего участия с вами случится то же самое, что с вашим прадедом: вы утонете в океане диких, чудовищных галлюцинаций, физический страх подавит вашу волю, и вы, ошеломленный, испуганный, бросите цветок на жертву силам, которые станут оспаривать его у вас.

– Вы требуете доли в моем будущем открытии?

– Да, но доли скромной: удовлетворения моего научного любопытства – и только. Видите ли, я имел бы право быть более требовательным, но не могу. Если я не покажу вам, где растет Огненный Цвет, вам все равно покажут его другие силы. Таким образом, я, как первый, заговоривший с вами откровенно об Огненном Цвете, просил бы у вас лишь двух милостей: одна – чтобы в поисках Огненного Цвета вы доверились одному мне и никому, никому другому... другая – чтобы вы позволи-

ли мне, первому, и – немедленно после того, как Огненный Цвет очутится в ваших руках, – произвести с ним несколько опытов...

– Почему вы лично не ищете Огненного Цвета? – спросил я по некотором размышлении. – Почему вы, зная, где это сокровище и имея возможность овладеть им нераздельно, уступаете его мне? Признаюсь, ваше великодушие для меня мало понятно... Я бы не поделился.

Паклевецкий нахмурился:

– И я бы не поделился, если бы был в силах взять его один. Потому что – я больше вас знаю, но не имею ни той духовной силы, ни той воли, какие требуются для этого дела. Вам, и только вам, можно докончить дело, начатое вашим прадедом... Согласны вы принять меня участником?

– Извольте...

– Честное слово?

– Хорошо, пожалуй, хоть и честное слово. К научным исследованиям я не ревнив, а если вы, повторяю, не мистифицируете меня и действительно Огненный Цвет обладает такими удивительными золотоискательными

качествами, то – и к богатству ревновать нечего: хватит на обоих!

– Клянусь вам: со времен царя Хирама человек не имел в руках своих столько богатств, сколько получите вы!

23 июня

Сегодня ночью я буду обладать великою тайною жизни... если только тайна эта существует, если только мы оба, и я, и Паклевецкий, не сумасшедшие, странно пораженные одновременно одним и тем же бредом. Или – еще вероятнее – если он не шарлатан, не дурачит меня, как средневековый мистагог простака-неофита. Но я не позволю издеваться над собою. Если я замечу хоть тень мистификации, я его убью... Я сказал ему это. Он только рассмеялся. Значит, не боится, уверен в правде своего знания. Не о двух же он головах, чтобы шутить со мною! Кто я и каков я, ему слишком хорошо известно.

Меня смущает одно. Вот уже три дня, как мы условились с ним о поисках Огненного Цвета, и с тех пор я, кроме Якуба и Паклевецкого, не вижу никого – ни живых, ни мерт-

вых. Он точно ограду вокруг меня поставил. Я окружен его атмосферой, как недавно был окружен атмосферой Зоси.

Я чувствую, что я весь под его влиянием; что я никогда уже не остаюсь один; что он всегда следит за мною издали – через расстояние, сквозь двери закрытые, сквозь каменные стены, – постоянно стережет меня напряженной и властной мыслью, точно боится, что я обману его, убегу, струшу, поссорюсь с ним... Это первое внушение, с которым я не в силах бороться.

Я потерял власть над духом Зоси. Я звал ее вчера, и она не пришла. Только где-то далеко-далеко раздался не то вздох, не то звон лопнувшей гитарной струны... скорбный... тяжелый... Она здесь, но не смеет показаться, точно запуганная. Отчего?.. Я чувствую в ней резкую антипатию к Паклевецкому, это он причиною, что она удаляется от меня. Откуда эта антипатия? Ведь без него я не знал бы, как помочь ей. Почему же она так печальна теперь, когда ее освобождение близко и непременно? Почему она так страшно переменилась в лице и исчезла, как дым, когда

Паклевецкий застал ее в моем кабинете? Он принес мне секрет, как превратить ее из блуждающего призрака в материальное существо... он – ее благодетель, а между тем, вместо благодарности, сколько ужаса и отвращения высказал ее умирающий взгляд!

Не напрасно ли я дал ему свое слово? Не скрывается ли за помощью, им предложенной, какой-нибудь коварный умысел? Не может быть! Если бы он затевал что против меня, какая выгода показывать мне цветок жизни? Паклевецкий бывает у меня каждый день... По его рецепту я тренирую себя к поискам чудесного цветка серией магических обрядов, постом, размышлениями. Когда что-нибудь в этой серии кажется мне чересчур глупым, он неизменно повторяет мне одну и ту же фразу:

– Вспомните Фауста в кухне ведьмы. Что делать! Вы декламируете вздор, но без вздора этого нельзя! Должно быть, стихийные духи любят видеть людей дураками и в глупых положениях.

Вежлив он со мною, как никогда, до изысканности, услужлив до лакейства. А я, как на-

рочно, «в нервах» и то и дело говорю ему неприятные вещи. Он пропускает их мимо ушей с такою кроткою покорностью, что мне даже совестно становится, но я положительно не в силах владеть собою.

Присутствие этого человека для меня яд. Поскорее бы развязаться с ним и затем указать ему порог, чтобы не встречаться более никогда в жизни!

24 июня

Еще несколько минут, и я, быть может, буду сумасшедшим... Мозг мой горит, – я собираю последнее мужество, последние мысли, последнее присутствие духа, чтобы набросать эти строки... кто найдет... пусть верит или не верит, как хочет... мне все равно!.. Признания ли мистика, признания ли сумасшедшего – для невера немного разницы!

Да! Он существует! Я видел его, этот Огненный Цвет... он был в моей руке... и я не удержал его... не сумел, не смог удержать!

Мы с этим... с тем, кто назывался Паклевецким, чье имя теперь я не в силах произнести без трепета, проникли в парк, к тому са-

тому размытому кургану, откуда добыта моя статуя... моя бедная, снова обездоленная, снова осужденная скитаться между жизнью и смертью Зося.

Когда на кусте бурого папоротника, как пламя, сверкнула золотая звездочка огненно-го цвета, я хотел протянуть к ней руку, но все члены моего тела стали как свинцовые, ноги не хотели оторваться от земли, руки повисли, как плети.

– Что же вы? – слышал я гневный шепот над моим ухом. – Рвите же! Рвите, пока не поздно. Ведь он и пяти секунд не цветет: сейчас осыплются листики, вы прозеваете свое счастье!

Я сделал над собою страшное усилие, но таинственные пути продолжали вязать меня по рукам и ногам! Мне чудился чей-то мрачный смех, какие-то безобразные рожи кивали мне из сумрака. Я не боялся их – я только сознавал, что это они враждебным магнетизмом своих глаз парализуют мою волю и что мне не одолеть их влияния, – оно сильнее человека.

Тогда Паклевецкий, топнув ногою, с яр-

стью пробормотал несколько слов, и рожи исчезли; по ту сторону цветка, озаренная его отблеском, – выросла Зося... Ее взгляд, испуганный и ждущий, оживил меня... «Спаси! Дай мне жизнь! Не бойся никого и ничего! Ты господин этой минуты!» – прочел я в ее страдальческой улыбке. Я забыл страшные рожи, забыл Паклевецкого, недавняя свинцовая тяжесть свалилась с моих плеч. Я схватил цветок, земля затряслась под моими ногами, и я почувствовал вдруг, как некая непостижимая сверхъестественная сила льется в меня, и я расту, расту, и нет уже могучее меня никого на свете!.. Я видел светло, как днем, в глубокую полночь. Земля и все предметы на ней стали прозрачными, как хрусталь. Зося радостно протягивала мне руки, Зося звала. Я шагнул к ней... Паклевецкий схватил меня за руку.

– Стойте! – повелительно сказал он. – Прежде всего, исполните условие: вы дали слово уступить мне первый опыт над Огненным Цветом.

– Да, ваша правда, – сказал я и готов был уже передать ему цветок, когда взглянул

нечаянно на Зою: мгновение тому назад радостный взор ее был снова полон ужасом и отчаянием. Казалось, она предостерегала меня. Я пристально посмотрел в глаза Паклевецкого и прочел в них тревожное и злобное ожидание – взгляд хитрого коршуна, готового ринуться на добычу. Он вдруг стал мне ясен...

– Я не дам вам цветка, – сказал я, отступая от него.

– Что это значит? Вы с ума сошли? – глухо отозвался он, следуя за мною.

– Я не дам цветка, пока вы не объясните мне, зачем он вам и кто вы такой, – продолжал я.

Он все бормотал:

– Это бесчестно! Разве так держат честное слово? – И тянулся к цветку.

Я спокойно отстранил его левою рукою, а правою высоко поднял цветок над головою, так что пламенный отблеск его упал на злобное лицо доктора.

– Я понял вас, – сказал я. – Я не знаю, кто вы именно, но вы причастны к той злой силе, что оспаривает у человека власть над Огненным Цветом, власть над жизнью и смертью.

Вы знали, что меня нельзя запугать никакими страхами, и потому решились вырвать у меня цветок обманом... Вы помогли мне, чтобы предать меня и отнять у меня мою добычу!

Он с хриплым криком ярости бросился на меня.

– Цветок! цветок! Отдай цветок! – рычал он. – Вот уже сорок девять лет, как я стерегу этот цветок и не уступлю его тебе, мальчишке...

– Прочь, гадина!

Он лез на меня со свирепым лицом, в нем не было уже ничего человеческого. Но я не боялся. Я чувствовал себя сильнее этого безобразного существа, охватившего меня своими цепкими лапами... Он уже обессилевал... Я напрягся, чтобы последним усилием свалить его на землю...

И вдруг, в одно мгновение ока, он сделался в моих руках тонким и высоким, как шест. И когда, не встречая сопротивления в его теле, я споткнулся и, едва удержавшись на ногах, в изумлении неожиданности глянул вверх, – вместо знакомого лица моего врага на меня с

шипением оскалились три змеиные головы с янтарными глазами...

Я позабыл о цветке, дрожащем в моих пальцах, – и думал только о самозащите. Я схватил чудовище за его длинную шею, и в это время золотая звездочка мелькнула перед моими глазами: это упал на землю Огненный Цвет и рассыпался кучею золотых лепестков, вновь поколебав землю точно вулканическим ударом.

И в тот же миг все пропало: и чудовище, и звездочка, и Зося... Парк был темен и пуст... Бурый папоротник уныло качался под ночным ветром... Мне чудились далекие стоны и грубый язвительный хохот... Я понял, что все потеряно... я не выдержал испытания. И вот – возвратясь, я сижу теперь один со своими мыслями и спешу занести их на бумагу, потому что стыд, гнев сводят меня с ума. И, кроме стыда и гнева, еще сомнение: не сном ли сплошным, не рядом ли галлюцинаций была в последние дни моя жизнь. Я написал, что тороплюсь записать прежде, чем сойду с ума... а может быть, я уже сошел давно? Но так или иначе, было или не было все, что я,

казалось мне, пережил, – я переживал это настолько ярко, что яркостью этою заслонила вся моя прежняя жизнь... И через семь лет... через семь лет... он, таинственный Огненный Цвет, опять засияет в Здановском парке своими радужными красками, подобный падучей звезде, скатившейся в темную ночь... О, если я только не умру, если только безумие не прикует меня к одинокой келье, мы еще поборемся!.. и уже в другой раз я не останусь побежденным!.. Прости меня, Зося. Прости и жди! – не отчаивайся: будет и на нашей улице праздник!.. И верь мне: он недалек, недалек, недалек...

Примечания

1

В четвертую долю листа, т. е. том большого формата (*лат.*).

[^^^]

2

«Природа-кормилица, или Занимательные истории о звездах, словах, травах, камнях, производящих изменения и действия» (*лат.*).

[^^^]

3

Смешивай, удаляй, разделяй на части! (*лат.*).

[^^^]

4

Собственной персоной (*лат.*).

[^^^]

Прислуга на все (*фр.*).

[^^^]

6

Летающих мушек (*фр.*).

[^^^]

Жизнь, прерванная жестоко (*фр.*).

[^^^]

Мраморная темница (*фр.*).

[^^^]

«Клянусь розами, цветущими на ланитах твоих, милый призрак, что я освобожу роковой цветок и верну тебя к жизни, прерванной так жестоко» (*фр.*).

[^^^]

Рокового цветка (*фр.*).

[^^^]

Кто не рискует, тот ничего не выигрывает
(*фр.*).

[^^^]